



РОМАН СЕНЧИН

Петербургские
повести



МОСКВА
2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С31

Художественное оформление серии *Елены Куликовой*

В оформлении переплета использована иллюстрация
Екатерины Бауман

Сенчин, Роман Валерьевич.

С31 Петербургские повести / Роман Сенчин. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-04-112549-3

«Петербургские повести» — истории о Ленинграде-Петербурге конца 1980–2000-х годов. Герои историй люди разных поколений и социальных слоев. От старой пенсионерки, бывшего врача, доживающей свой век на Васильевском острове, до пэтзюшника позднего СССР, от главного режиссера драматического театра до разорившегося бизнесмена, начинавшего с фарцы у Гостиного Двора.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-112549-3

© Сенчин Р., текст, 2020
© Оформление. 000 «Издательство «Эксмо», 2021

ОБОРВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Заскрёб в замке ключ, словно в мозгу кто-то стал ковырять шершавым стальным штырьком. С громким болезненным писком открылась дверь. Топтанье в прихожей, шушанье полиэтиленового пакета. Снова писк двери, удар ее о косяк (не может никак, что ли, Наталья запомнить, что дверь просела и надо ее приподнимать, когда закрываешь?). Елена Юрьевна хотела подсказать, но та уже справилась. Замок защелкнулся.

Новые неприятные, резкие, раздражающие звуки: хлопок выключателя, шлепки сброшенных с полочки босоножек... Елена Юрьевна смотрит в сторону прихожей, оттуда желтоватый, теплый свет лампочки, там энергично и уверенно шевелится молодое красивое существо. Красивое, потому что молодое... Сейчас появится, войдет, наполнит комнату; Елена Юрьевна с нетерпением и страхом ждет.

В комнате полумрак, сгущаемый темной мебелью, потемневшими прямоугольниками картин на покрытых потемневшими обоями стенах. Окно почти все закрыто старинными, толстыми шторами, которые и недавняя стирка не смогла осветлить. Сквозь щель между шторами — холодная, синевато-белесая муть зимнего непогожего дня. Почему-то именно в декабре все дни кажутся непогожими. Даже когда ветра нет, когда тает снег, небо ясное — все равно чувство, что за окном, на улице, метель, солнце прячется в пластах плотных туч, все живое только и мечтает скорее, скорее спрятаться, укрыть-

ся в жилище, переждать, дожить до весны, хотя бы до нового года, а там сразу станет светлее, легче, теплее, там обязательно что-нибудь случится хорошее.

— Я пришла, Елена Юрьевна! — объявляет Наталья, улыбаясь неприятной, лживой, юной улыбкой. Смотрит, заглядывает в глаза, ожидая чего-то, и, не дождавшись, интересуется: — Как чувствуете себя?

Елена Юрьевна промолчала. Наталья пошла на кухню... Муж называл ее Еленочкой, Ёлочкой; сын — «мама, мамуля». А другие — чаще всего — сухо, делово: «Гражданка, товарищ, товарищ капитан, Елена Юрьевна». «Елена Юрьевна» — это и сотни ее студентов, несколько поколений, для которых она была строгим, беспощадным преподавателем, помешанным на своей биологии. Между собой они ее величали (она, конечно, знала об этом) — Гидра. Теперь и ее, Елену Юрьевну, и ее прозвище давно забыли — почти десять лет как не работает. Теперь приходится слышать ей в свой адрес презрительно-мягкое, особенно обидное из уст молодых женщин: «Бабушка!», «Садитесь, бабушка», «Может быть, без очереди пройдете, бабушка?», «Бабушка, в переднюю дверь лучше бы вам». На остановке, в магазине, на почте, в троллейбусе... Незаметно, вдруг, однажды Елена Юрьевна из статной, красивой, гордой, для многих грозной женщины превратилась в немощную, согнутую старуху, которую боится зашибить пустой коробкой грузчик, которую готовы пропустить без очереди, усадить на сиденье, пока не упала... Слово «бабушка» она ненавидела, и другие обращения были теперь ей неприятны, от них веяло холодом одиночества; хотелось, чтобы называли как-то по-родному, теплее.

— Наталья, не зови ты меня Еленой Юрьевной, — стараюсь говорить громче, велела она. — Я тебе тетя. М-м... Тетя Лена.

Племянница в четыре раза моложе ее, ей девятнадцать, да и племянницей она может считаться с большой натяжкой. Скорее внучка — дочь дочери сестры...

— Хорошо, тетя Лена! — легко согласилась Наталья; она разбирала на кухне продукты, хлопала то дверцей шкафчика,

то холодильника, то хлебницей; ответила приподнято, с готовностью и со скрытым равнодушным согласием: как хотите, можно и так, если вам так приятнее.

И Елена Юрьевна вспомнила, что уже раза два-три просила племянницу об этом, но та, видимо, забывала, возвращалась к холодному — «Елена Юрьевна».

«Действительно, какая я ей тетя. Тетя — слово мягкое, сладкое, а я... Пирожков с повидлом не стряпала, не нянчилась с ней. Какая я тетя... Так, чужая, ворчливая бабка...»

— Наталья, электричество погаси в коридоре! — И хотела добавить: «Не тебе же, конечно, платить!» Пересилила себя, не сказала.

Племянница вернулась в прихожую, на ее лице старуха заметила вспышку досады. Понятно... Этого и следует ожидать. Она просто терпит, мучается и терпит, понятно ради чего... Что ж, дотерпит, недолго уже...

— Кушать будете? — спросила Наталья. — Я суп разогрею тогда.

— А ты? — через силу, стараясь притушить разрастающуюся обиду, проговорила Елена Юрьевна.

— Да я не хочу...

— Не хочешь...

Дышать было тяжело, слова выходили с трудом; и голос прерывался и дрожал, одна темная мысль наплывала на другую, догадки превращались в уверенность. «Она и ела-то со мной за эти два месяца — по пальцам пересчитать. Конечно, любой аппетит пропадет... на меня глядя».

— И я тоже не буду. Не хочу, — твердо и четко бросила Елена Юрьевна, повернула лицо к окну, смотрела на полоску стужающейся сини между шторами.

Скорее всего, да нет — естественно, Наталья сейчас пожмет плечами, раздраженно цокнет языком. Не понимает она, мол, этих старушечьих капризов... Ну, пусть, пусть. Все останется ей, все ведь это теперь ее, а она, Елена Юрьевна, точнее — то, что от нее осталось еще, — лишний, никому не нужный

предмет, требующий пока ухода и внимания, и хочется его выбросить прочь, чтоб не мешался, не раздражал. Что ж, понятно... И ей хотелось выкрикнуть в отчаянии: «Ну куда мне деться?! Скажи!» И просить племянницу потерпеть, дать умереть в своем углу... Вот тогда пусть и отдыхает, хозяйничает, распоряжается всем.

Потекли одна за другой частые слезы. Долго блуждали по бороздам морщин и наконец, добравшись до подбородка, капали на старый, но крепкий, толстый халат. Он помнил ее другой, этот халат, совсем другой, да и сама она помнила, представляла себя сильной, здоровой и в сорок пять лет сводящей мужчин с ума, недоступной, обворожительной. Совсем ведь недавно было. Было... А теперь как?.. Каждое утро приносит с собою темную пустыню нового напрасного, холодного дня. Сколько еще впереди таких дней? Отравленных, лишних, сулящих только боль и напрасное ожидание конца-избавления.

Елена Юрьевна попыталась остановить слезы, от этого они побежали сильнее. Рванулось из изорванной, забитой горькой таблеточной слизью груди рыдание. Старуха одной рукой схватилась за лицо, сжала губы и нос, другая рука тянула из кармана халата платок.

Выскочила из кухни племянница.

— Что? Что с вами, Елена Ю?.. Тетя Лена... Воды дать?

— У... уйди... Сейчас прой... пройдет, — задыхаясь, сквозь спазмы хрипло выдохала она. — Уйди... Успокоюсь.

Наталья развернулась, ушла. Принесла чашку с водой. Елена Юрьевна, трясясь, выбивала из пузырька в маленькую стопочку по капле корвалол.

— Не надо, тетя Лена, вам нельзя волноваться. Что случилось? Я что-то не так?.. — Наталья присела перед нею на корточки, смотрела своими блестящими, красивыми глазами, собравшись выслушивать от старухи упреки и оскорбления, готовая к ним как к неизбежному составляющему ее обязанностей. Ведь старухе никак без упреков и обидных слов — обидно, что вокруг продолжается молодая, веселая жизнь, но

она не для нее теперь, она против нее. Она, как сильный птенец — выпихивает ослабевшего из гнезда.

— Торшер, может, зажечь? Что вы впотьмах...

— Иди, Наталья, там... почитай иди.

Оставшись одна, Елена Юрьевна отвалилась на мягкую спинку дивана, несколько минут сидела глубоко дыша, закрыв глаза. Лекарство подействовало, стало легче. Она немного успокоилась. Сердце, затрепетавшее было, когда рвалось рыдание, теперь билось ровнее, не толкалось к горлу, не падало в мертвую бездну, сжавшись от боли. Оно стучало, удар за ударом, стучало немного хрипло, как маятник в старых, давно не чищенных часах. С каждым ударом цепь с грузиком на конце опускается ниже, ниже; кажется, что цепь бесконечна, что грузик будет вечно опускаться и не достигнет упора. Все устало, всему хочется отдыха, а его нет, и жизнь теперь — наказание, каждый день словно пытка. Остается ждать, сидя вот так на диване, тупо глядя в темноту, ждать. Проклинать себя, очередной рассвет, сильных, молодых, распускающихся, как большие цветы, людей.

Елена Юрьевна поползла взглядом по комнате, надеясь найти что-нибудь, чем можно отвлечься, убить хотя бы несколько невыносимо тягостных минут.

— Наталья.

Появилась Наталья.

— Подай мне ящик тот вон, белый... с карточками.

— Какой же он белый? — робко не согласилась Наталья, поднимая стоящий под книжным стеллажом металлический ящик. — Скорей серебристый...

Эмаль на ящике когда-то была белой и яркой. Елена Юрьевна хорошо помнила, как красила его белой краской. Помнила этот ящик и новеньким, разноцветным, веселым — отец однажды принес его, он был полон халвы. Большой куб жирной, душистой халвы. На вкус — чуть с горчинкой... Потом ящик приспособили под муку, потом в нем держали клубки шерстяных ниток, еще позже и теперь — хранились фотографии.

Со временем разноцветная раскраска отшелушилась, появилась чернота изъеденной временем жести, и Елена Юрьевна решила покрасить его. Вот и эта краска хоть пока держится, но потемнела; теперь лишь по памяти можно видеть ее белой, для постороннего же человека ящик серый, неотмываемо пыльный...

Елена Юрьевна приняла его, поставила себе на колени. Племянница стояла рядом, ожидая чего-то. Хотела, наверное, услышать «спасибо» или исполнить еще какую-нибудь просьбу. Или что?.. Нет, Елена Юрьевна не могла благодарить, не могла посадить ее рядом и показывать заветные фотокарточки, — она все больше и больше, и не понимая сама, за что именно, злилась на племянницу, ее присутствие раздражало, лишало последних сил...

Постепенно на протяжении этих двух месяцев отношения все хуже и хуже. Сначала, когда Елена Юрьевна списалась с матерью Натальи, своей настоящей племянницей, дочерью младшей, несколько лет назад умершей сестры; когда начались переговоры о том, чтобы девушка переехала к ней, казалось, что все будет хорошо, что появятся необходимый уход, забота, общение, такие нужные в старости одинокому человеку. И Наталья вроде бы исполнительная, внимательная, а на самом деле — невыносимо. Невыносимо само соседство молодой, красивой своей молодостью, полной сил девушки и человека отжившего, ждущего смерти.

Она взглянула на племянницу, их глаза встретились, и Наталья поняла, быстро ушла на кухню. Чем она там занимается, Елену Юрьевну не интересовало, — может, читает, а может, готовит отраву, чтобы убить ее. Это было бы самое правильное, самое нужное им обеим... В самом деле: что дальше? за чем дальше?..

Открыла крышку, сняла лежащие сверху свернутые грамоты, полуистлевшие, скрученные в трубку давнишние облигации займов, пачку дорогих писем. Положила на диван. Дальше — фотографии. Осыпавшиеся, побуревшие, истрескав-

шиеся — тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов; семидесятых, восьмидесятых — более свежие, некоторые совсем как новенькие. А последнего десятка лет — ни одной. Да и не надо. Только расстраиваться, морщась сравнивать с другими... А вот — их много-много, и все почти в хорошем состоянии — из детства и даже тех времен, когда Елены Юрьевны на свете не было. Портреты давным-давно умерших людей, одетых в музейные ныне платья, сюртуки, шубы. Отец, в военной форме, с закрученными в стрелку усами, поручик на этом снимке; мать — молодая, светлая женщина с большими, притягивающими глазами. Это в пятнадцатом году, мать тогда была сестрой милосердия, через несколько месяцев она познакомится с раненым офицером Масленниковым, они любят друг друга, обвенчаются, а в апреле семнадцатого родится Лена. Елена Юрьевна...

Удивительно, но она помнит дословно рассказы матери, имена не только родственников, но и знакомых родителей, многих из которых в жизни никогда не видела, не знала. И сейчас, перебирая фотокарточки, она сразу узнавала на них всех, будто у нее в памяти сфотографированы те минуты, когда мать длинными вечерами так же перебирала их и рассказывала о каждой.

Незаметно стало совсем темно. И Елена Юрьевна, словно проснувшись, вдруг поняла: она не видит, что на той карточке, которую держит сейчас в руке. Но память, секунду назад находясь за рамками сознания настоящего, лучше, чем яркий свет, светила ей... Ей стало страшно. Скорее нашарила кнопку, включила стоящий возле дивана торшер.

— Наталья, который час?

— Гм... Половина пятого, — торопливо проглотив недожеванный кусок, ответила племянница.

Елена Юрьевна поморщилась, посмотрела в окно. Полоска между шторами сделалась черно-синей. Вот и вечер. Бесконечный декабрьский вечер. Как и тогда... Они сидели в этой же комнате, на этом же диване. Было зябко, сыро, как в под-

земелье, мать закутала дочерей и себя в толстый плед и перебирала фотографии. Вот эти толстые, на картоне, вечные фотографии. И мама подолгу рассказывала о каждой целую историю. О своих родных, о родных отца, о друзьях, об однокурсниках. И в такой же вечер отец принес завернутый в тряпку жестяной ящик с халвой. «Еще та, — похвалился он, — наша!» Каким-то чудом добытая. Под промасленной бумагой — темно-серая, твердая масса, пропитанная клейкой жарой, расплавленным солнцем... Ели ее, прогоркло-сладкую, с черным, похожим на глину, хлебом, запивали теплой водой...

— Еле... — Племянница кашлянула, поправилась: — Тетя Лена... Сегодня в театре Акимова «Зойкина квартира» идет... Вы не будете против, если я сбегаю?

Елена Юрьевна перевернула фотокарточку изображением вниз; она испугалась неожиданному появлению перед ней человека, нарушившего воспоминания. Несколько секунд смотрела на Наталью, не понимая, что нужно ей, наконец, очнувшись, качнула головой утвердительно и в то же время с укором.

— Иди, иди погуляй.

— Я не гулять, я в театр.

— Иди, иди...

— Я суп разогрела, тетя Лена, вам нужно поесть.

— Иди, не хочу пока.

Она чувствовала, что если Наталья скажет еще что-нибудь, снова подступят рыдания, вырвутся горькие, обидные слова. И девушка, кажется, тоже поняла это и потому промолчала. Прошла в свой угол, стала переодеваться. Елена Юрьевна старалась не видеть этого, не слышать шелеста одежды, она смотрела на стопку выложенных из ящика фотокарточек... Конечно, им в одной комнате тесно и неудобно, они мешают, стесняют друг друга. Но вторая комната заперта.

Она заперта уже много лет, это — комната сына. Там все как было при нем. Его костюмы, вещи ждут его.

Елена Юрьевна когда-то была уверена, что он вот-вот вернется, ждала, а позже вера сменилась окаменевшей памятью,

суеверной святостью комнаты... Сначала она каждую субботу делала там уборку, стирала пыль, мыла пол, меняла постельное белье, теперь же, последние годы, даже не заходит туда. Ключ держит в шкатулке, на самом дне. «Вот умру, пусть что хотят тогда, то и делают. А пока что... пока я жива... Это Колина комната».

Она стала торопливо перебирать карточки, искала одну из тех, где был сфотографирован сын. Вот — после защиты диплома, его курс на крыльце университета. Шестьдесят девятый год. Июнь. Коле двадцать три... Через месяц он уедет по распределению в Северную Якутию и пропадет... Молодой, красивый парень с юношеской бородкой. Гордость курса, умница, любимец преподавателей. И уже скоро по телефону незнакомый голос будет вымученно объяснять: «...Тайга большая, ищем... Не волнуйтесь, пожалуйста, Елена Юрьевна, найдем. Всех поставили на ноги. Вертолеты... По метру прочесываем...» Пропала геологическая экспедиция, восемь человек, словно и не было. И в их числе Коля... Ни живых не нашли, ни мертвых, поэтому и хранила Елена Юрьевна в глубине души ожидание, надежду; до сих пор теплится в ней малая искорка и погаснет лишь вместе с нею, с концом ее жизни.

Подняла глаза от фотографии, обвела взглядом комнату, просыпаясь от мыслей. Болью уколело: племянница подтягивает колготки, безобразно и откровенно задрав подол юбки.

— Что с вами, тетя Лена? — Наталья обернулась на ее сдавленный стон, опустила, оправила юбку. — Я могу не ходить, если вам нехорошо.

— Мне хорошо... Собралась — иди.

— Вы поешьте, там суп горячий. Налить?

Елена Юрьевна перевела взгляд на стеллажи, смотрела на ровно стоящие книги, но не видела их, просто ждала, когда племянница выйдет, оставит ее в покое. Дышать было трудно, в горле застрял твердый, душастый комок, обида и раздражение лишали ее рассудка... Эта девица как в наказание по-

слана. Порхает бабочкой над разлагающимся, но живым еще телом, морщится, а улететь не может — от этого зловонного, страшного тела ей польза. Вот закопают когда, станет она здесь хозяйкой... Елена Юрьевна вспомнила, каких усилий стоило прописать племянницу, как ходили они по бесчисленным учреждениям, оформляли документы, собирали справки; на это, кажется, и ушли ее последние силы.

— Ну, я пойду? — несмело спросила Наталья.

Елена Юрьевна повернула голову, проползла по девушке цепким, жадным взглядом. «Накрасилась, — отметила с отворачиванием. — Зачем в таком возрасте краситься? Только себя уродуют... И юбка-то, только что трусов не видно...»

— Сказала же... Что по десять раз спрашивать? Иди, конечно.

— А вы?...

— Я так посижу.

— Вы... вы бы поели все-таки.

— Наталья! — На секунду голос стал звонким, грозно-предупреждающим, каким бывал когда-то, и после одного слова вновь сошел на задышающийся, надсадный хрип: — Поем... когда проголодаюсь.

Девушка мотнула головой, развернулась, направилась в коридор. С содроганием и манящим интересом щупала глазами ее фигуру Елена Юрьевна. Хотелось бросить вслед что-нибудь грубое... «Ступай, убирайся вовсе! Собирай вещи и убирайся! Ничего, как-нибудь одна, лучше одна, чем так...» Но остановило вдруг появившееся яркое воспоминание — как будто сел в кресло у противоположной стены дряхлый, ссохшийся старичок-еврей, сосед из сто восемьдесят второй квартиры, а она — она вдруг снова юная девушка, моложе теперешней Натальи... Как же его звали?... Зильберман фамилия... Витольд... Да, Витольд Маркович Зильберман. Он часто заходил к ним, подолгу сидел, попивая чай, громко причмокивая обвисшими толстыми губами. «Тяжело стареть, Леночка, — однажды сказал ни с того ни с сего. — Тя-жело-о... Этому надо

учиться с молодых лет. — И, вздохнув, повторил: — Запомните, Леночка, с молодых лет».

Тогда она не поняла его слов; Зильберман казался ей реликвией, последним из могижан знакомого ей по книгам поколения, интересного, полумифического прошлого. Для нее, сейчас находящейся в таком же положении, как тогда Зильберман, он был благодушным, хотя и уставшим, больным, но удовлетворенным человеком, спокойно подходящим к финалу своей длинной, полной событий жизни. И естественно, что тогда тех слов она не заметила, и лишь сейчас они всплыли, вспыхнули и отравленным дыханием пахнули ей в сердце. «Тяжело стареть... этому надо учиться... с молодых лет», — прошептала Елена Юрьевна, провожая растворяющийся призрак старика соседа.

Пискнула, ударилась дверь о косяк, потом снова пискнула — и щелчок замка. Ушла... И с уходом Натальи словно посвежело в квартире, словно посветлела она и расширилась. Елене Юрьевне стало легче, захотелось встать, походить, подвигаться.

По одной, но достаточно быстро сложила фотографии обратно в ящик. «А почему никогда не пробовали ни мама, ни я сделать альбом? — подумалось неожиданно. — Почему карточки хранятся так, стопкой, а не в альбоме?» И представилось, как бы смотрелись они на страницах альбома, аккуратно, по хронологии расположенные. Нет, совсем не то. Когда перебираешь их, каждую чувствуешь в руках, читаешь написанные на обороте строчки пожеланий, даты, названия городов, роднее и ближе становятся они, а так, на страницах, — точно картины под стеклом... Не надо альбома, порядка, обманчивой аккуратности — там, в памяти, все упорядочено и свежо, а фотографии лишь помогают расцветить поблекшие подробности прошлого.

Болезненно кряхтнув, Елена Юрьевна поднялась с дивана, тяжело ступая отеками, негнущимися ногами, прошла по комнате. Отодвинула край шторы, посмотрела в окно.